

Лидия
ЧАРСКАЯ

*Повести
и рассказы*



Лидия Чарская

На всю жизнь

«Public Domain»

1913

Чарская Л. А.

На всю жизнь / Л. А. Чарская — «Public Domain», 1913

У меня появилась тайна, в которую посвящены лишь двое: Галка и я. Пока Борис на службе, я исписала несколько листов своим крупным мальчишеским почерком, вложила их в огромный конверт, надписала на нем адрес и большими буквами поставила «заказное». Это письмо – мой смелый и дерзкий замысел. Я думаю о нем все время, пока Галка шагает по снежной дороге в городской почтамт...

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Лидия Алексеевна Чарская

На всю жизнь

Часть первая

Сегодня выпуск. С вечера никто не ложился, и майский день застает нас на ногах. В раскрытые окна дортюара врывается птичий гомон и солнце.

Высокая, полная, с черной кудрявой головой, Зина Бухарина, прозванная Креолкой, сооружает перед трюмо сложную прическу. Чахоточная, хрупкая Миля Рант, Стрекоза, помогает ей в этом. Красавица Черкешенка, Елена Гордская, моя любимица, расчесывает у окна черные косы и мурлычет какой-то романс. Толстушка Додошка Даурская, хохотушка и лакомка, с набитым леденцами ртом вертится подле моей постели, на которой разложено легкое белое платье.

Между нами, выпускными, было давно уже решено не делать нарядных платьев ко дню акта, с тем чтобы предназначенные на это деньги пожертвовать на поездку и лечение нашей больной классной дамы фрейлейн Фюрст; но наши баловники, родные, не пожелали лишить нас удовольствия, и более богатые дали возможность менее состоятельным семьям одеть их детей в традиционный актовый наряд.

Больная же классная дама получила возможность лечиться на юге.

Мой костюм удался на славу. Разложенное на постели белое платье оказалось чудом красоты. Вокруг него теснились подруги и, громко ахая, восхищались вкусом моей мачехи, «мамы Нэлли».

Ольга Елецкая, по прозвищу Лотос, высокая черноволосая девушка, большая фантазерка, восхищалась больше других.

Впрочем, на этот раз даже такие серьезные особы, как «профессорша», Женья Бутусина, Вера Дебицкая, первые ученицы, и степенная Старжевская, наравне с шумными маленькими сестричками Пантаровыми – Лизой и Женей и веселой хохлушкой из Киева Марой Масальской, «невестой» (она действительно была невестой одного киевского помещика), окружали мою постель.

Хохлушка Мара суежилась больше всех.

– Лида! Вороненок, Лидочка! Шляпу покажи нам теперь, шляпу! – молила она.

Моя выпускная шляпа – мой секрет.

Вчера, когда мама-Нэлли привезла мне ее и показала на утреннем приеме, я даже вскрикнула от восторга. Совсем скромная шляпа, а между тем, говорят, «папа-Солнышко» (так я с самого раннего детства называю моего отца) рассердился, когда ее увидел:

– Для молоденькой девочки – этот мрак! Зачем это?

Шляпу хотели переменить, но я вцепилась в нее, как говорится, руками и ногами.

– Ах, нет, нет! Оставьте ее, пожалуйста. В ней столько красивого замысла, столько значения! – молила я.

И шляпу оставили, к восторгу моих одноклассниц.

– Скорее! Скорее! Хохлушка, открывай, открывай! – слышались нетерпеливые возгласы.

– Дети мои, не делайте из почтенного дортюара толкучего рынка, с позволения сказать, – роняет Сима Эльская, покрывая своим звучным контральто все остальные голоса.

– «Кочерга» на горизонте! – появляясь на пороге, выкрикивает Катя Макарова.

– Спасайся кто может! – вопит Додошка и лезет под кровать.

– Здорово нам влетит, что до звонка встали, – слышится чей-то шепот.

– Дурочки, ведь сегодня выпуск! – кричу я. – А через пять-шесть часов мы вольные птицы, и никакие «кочерги» в мире не смогут принести нам вреда.

– Они рехнулись, – пожимает плечами Сима, – одержимые какие-то, право! Будут перед классными дамами трусить до гробовой доски.

– Действительно, никто не посмеет нам сделать замечания сегодня, – улыбается Зина.

– Ну, душка, тебя с такой головою под кран пошлют кудри размачивать – произносит младшая Пантарова, Женя? или Малявка, прозванная так за крошечный рост.

– Отроковица Евгения, не завидуй чужому благу! – голосом дьякона на амвоне басит Сима, или Волька по прозвищу.

– А какие мы дети, в сущности! – тянет Черкешенка, не отрывая взгляда от голубого простора в окне. – В полдень свободные гражданки, а утром боимся «кочерги»!

– Побоишься здесь, когда...

Тут Рант корчит уморительную гримасу, собрав в частые складки свое лицо. И внезапно это худенькое личико делается карикатурно похожим на сморщенные, точно печеное яблоко, черты нашей главной гонительницы, инспектрисы. Миля склоняет свою изящную фигурку на один бок и, немилосердно теребя цепочку от креста, вытянутую поверх передника, скрипучим голосом тянет в нос:

– Первые, опять! Уймитесь, первые! И когда только вас выпустят наконец! Мальчишки! Разбойники! Эти первые портят весь корректный строй института! Да!

Взрыв хохота покрывает ее слова.

– Ха-ха-ха-ха! Как похожа!

Она действительно бесподобна со своей подражательной способностью, эта Рант. Воочию предстает, как живая, инспектриса.

От смеха мы несколько минут не можем произнести ни слова. Вдруг раздается голос Макаровой:

– Она идет, mesdames! «Кочерга» идет!

– Фальшивая тревога. Ты врешь, Катя! – кричит Сима.

– Нет, правда! – испуганно произносит Макарова.

– Ах, пусть войдет. Я люблю ее. Да, я люблю ее сегодня! – кричу я громко. – Люблю ее сегодня, люблю газовщика Кузьму, повара, люблю весь мир, потому что сегодня первый день нашей свободы, потому что жизнь прекрасна, небо синее, солнце – золотое море, и душа моя полна чарующей песни без слов. Да, я люблю ее. Горю желанием поцеловать ее морщинистое лицо и...

Тут я с жестом владетельной принцессы обращаюсь к подругам:

– Не мешайте ей войти, друзья мои. Я жажду ее видеть и расцеловать ее милые щеки.

– Лидка! Угорелая! Ты с ума сошла!

Я не успеваю произнести ни слова, потому что в эту минуту Мара с благоговением вынимает шляпу из картонки и вскрикивает:

– Шляпа, месдамочки, шляпа!

– Бабы тряпки. Труха! – отчеканивает Сима.

Что-то белое, воздушное, из ажурной серебристой соломы в виде коронки, сшитой полукругом, над чем небрежно наброшены два черных крыла.

– Какая прелесть!

– Венец поэту! – восторженно лепечет Черкешенка.

Я краснею. Уж эта мне Черкешенка. Зачем она подчеркивает, что я пишу плохие стихи?

– Пожалуйста, не лести Вороненку. Гляди, у нее и без тебя клюв от самомнения вытянулся на четыре дюйма, – острит Сима.

– Черкешенка права, – говорит Креолка, – и этой серебристой царственной тиарой я предлагаю увенчать стриженую голову Вороненка, а за это потребовать у нее речь.

– Конечно! Конечно! – оглушают меня остальные.

Я смущаюсь и, чтобы как-нибудь выйти из глупого положения, ухарски, задом наперед напяливаю шляпу, причем черные крылья зловеще трясутся над моим лицом, подбочениваюсь, делаю разбойничье лицо и, вскакивая на табурет, начинаю:

– Друзья мои! Сегодня мы, как вольные птицы, разлетимся во все стороны России, а может быть, и по всему земному шару. И Бог весть, встретимся ли мы когда-нибудь вновь. Многие из нас добьются, может быть, высокого положения, славы. Многие, может быть, будут богаты...

– Додошка откроет собственную кондитерскую, это верно, как шоколад, – возвещает Сима.

Кто-то фыркает. Но тотчас же зарождающийся смех подавляется дружным шиканьем остальных.

– Дайте же закончить речь Вороненку!

– Друзья мои, – подхватываю я, – через какие-нибудь пять-шесть часов все мы, Вольки, Креолки, Малявки, Черкешенки, Мушки, Киськи, Брыськи, Лотосы, Додошки и прочие, перестанем быть тем, чем были до сих пор, и перед нами широко распахнутся огромные ворота жизни. Мы войдем через них, гордые, сильные, свежие и юные, в большой мир. Бог знает, что ждет нас за этим заповедным порогом. Может быть, те, кто заслуживает много, много счастья, радости и утех, получают одни лишь тернии себе в удел. Может быть, многие изнемогут в борьбе, почувствуют упадок энергии, силы. Тогда, друзья мои, вспомним это дивное синее утро, эти волны майского воздуха, это золотое солнечное море и праздник юных девушек, готовых вырваться на свободу, и подкрепим себя мыслью, что в разных уголках большого мира у каждой из нас есть еще тридцать девять сестер, которые готовы прийти на помощь по первому крику изнемогающей в борьбе с жизнью подруги. Не так ли, милые сестры? – заканчиваю я свою речь.

На минуту тишина водворяется в дортуаре. Все дышат взволнованно. С головы моей давно слетела так пленявшая всех тиара-шляпа и лежит теперь, забытая, на полу, в пыли. Никто и не замечает этого. Все углублены в собственные мысли.

Бог весть, что ждет нас за порогом нашей институтской клетки, где мы провели, худо ли, хорошо ли, семь безмятежных детских лет без особых забот и печалей. Детство кончено, и мы вступаем в жизнь. Каков-то будет путь этих тридцати девяти юных девушек, которые мне дороги, как сестры? Не подстерегает ли нас всех чудовищный зверь – судьба? Мне делается жутко до боли. Расстаться с моими друзьями так скоро, сегодня, через несколько часов! Слезы обжигают мои глаза.

– Все это прекрасно. Но зачем же рюмить, однако? – слышу я у своего уха Симин голос. – Слезотечение здесь не при чем.

– Ах, правда, Сима, правда. Мы должны войти в мир борцами, а не жалкими слабыми тряпками. Ты права!

А кругом уже загорается жизнь.

– Лида, Вороненок правду говорит. Мир, борьба, горе, все может быть. Но мы сестры. Мы должны дать слово друг другу помнить и любить вечно. А в трудные минуты помочь, поддержать. Да!

Впечатлительные плачут, повторяя одно и то же: «Сестры... сестры». Другие кричат, не слушая друг друга:

– Мы будем переписываться. Дадим адреса.

– Мы...

– «Кочерга» за дверь! И на сей раз это уже бесспорно, – кричит Сима. – Увы нам! – доканчивает она, взмахивая руками.

Действительно, на пороге появляется маленькая, сгорбленная фигурка инспектрисы, т-Пе Ефросьевой, нашего непримиримого врага.

– Опять ярмарка! – слышится ее скрипучий голос, и в презрительной гримасе морщится и без того морщинистое лицо. – Первые, опять! Просто наказание! Уймись, первые! И когда только вас выпустят наконец, мальчишки, разбойники, бунтари!

Додошка взвизгивает и валится на кровать, дрыгая ногами. Сима фыркает и делает «разбойничьи» глаза. Зина Бухарина, как бы нечаянно, набрасывает ночной чепец на свою великолепную прическу и завязывает его тесемочки под подбородком.

– Что вы, голландка, что ли? – шипит, заметив ее маневр, «кочерга».

– Нет, я из Иерусалима, – делая невинное лицо, отвечает Креолка, отец которой действительно служил недавно консулом в Палестине.

– Тогда зачем этот голландский убор?

И крючковые пальцы, протянувшись к курчавой головке, бесцеремонно стаскивают с нее злополучный чепец.

– Что? Бараном? Опять завивка? Под кран и тотчас же размочить эту гадость! – скрипит неумолимый голос нашей мучительницы.

– Но ведь сегодня, слава Богу, выпуск! – возмущается Додошка.

– Даурская, – встать! – приказывает инспектриса.

– Какая душка! Сморок! И ты хотела ее поцеловать! – шепчет Сима, трясаясь от смеха.

– И поцелую! – упрямо решаю я.

Что-то веселое врывается мне в душу.

– И поцелую, – повторяю я.

Шаловливая мысль толкает меня вперед. Что будет потом, я соображаю плохо. Когда один из моих проказников-бесенят захватывает меня, противиться ему я уже не в силах.

– Лида, душка. Перестань, не надо, – испуганно шепчет Черкешенка.

Но никакие силы уже не могут меня удержать. В следующую же минуту я стою перед инспектрисой.

– М-lle Ефросьева, М-lle Ефросьева, позвольте мне на прощанье вас поцеловать!

– Что?! Что вы сказали?!

«Кочерга» сначала бледнеет. Даже кончик ее крючкватого носа делается мертвенно белым. Потом краснеет густым старческим румянцем все ее морщинистое лицо. Зло смотрят на меня ее маленькие щелочки-глазки. Рука теребит по привычке длинную цепь от часов.

– Опять эти первые. Вечные глупости. Эти первые портят весь корректный строй института.

Она поворачивает к нам спину и, припадая на правую ногу всей своей кривобокой фигурой, демонстративно хлопнув дверь, исчезает за порогом дортуара.

– Сорвалось! – кричу я и с хохотом падаю возле визжащей от восторга Додошки.

* * *

Мы в церкви. Как торжественно и нарядно выглядит сегодня наш институтский храм! Накануне мы убрали гирляндами из живых цветов все образа иконостаса. Бесчисленные свечи и лампады теряются при ярком свете майского утра.

На парадном месте, посреди пушистого ковра, стоит начальница. За нею теснятся синие вицмундиры учителей. Все здесь: вон красивый, с лицом русского боярина, словесник Чудицкий, так прекрасно читающий вслух лермонтовские поэмы; вон умный и строгий историк Стурло; дальше желчный физик, беспрерывно сыплющий единицами; за ним застенчивый математик Зинзерин, «Аполлон Бельведерский», объект обожания столько институтских сердец, добрый старик француз, – все они почтили своим присутствием наше торжество. По пра-

вую руку начальницы – почетные опекуны в их залитых золотом мундирах, по левую – инспектор, инспектриса, все ближайшее институтское начальство и толпа приглашенных почетных гостей.

Наша мама притягивает к себе все взоры. Баронесса-начальница ходит последнее время, тяжело опираясь на палку. Но от этого не менее величественна ее фигура, а в белом-розовом лице, обрамленном серебряными седидами, что-то властное и непоколебимое; зорко смотрят еще молодые глаза и как будто видят нас насквозь.

– Екатерина Великая! Удивительное сходство – слышится восторженный шепот.

Там, в этой толпе, находятся и «они». Я незаметно поворачиваю голову и вижу их: моего папу-Солнышко в парадном мундире, маму-Нэлли в нарядном шелковом платье и маленькое существо в белом матросском костюме – одного из моих братишек.

Как хорошо, что они приехала все трое! Как хорошо!

Певчие сегодня поют изумительно. Проникновенно и как-то особенно звучит голос отца Василия под сводами церкви.

Сорок белых девушек стоят посреди церкви. Сердца горят и бьются. Еще час-другой, и мы разлетимся в разные стороны и, пожалуй, вряд ли встретимся когда-нибудь, или встретимся слишком поздно, когда лучшие надежды и грезы разобьются о сотни темных преград.

В церкви становится душно и от собственных мыслей, и от волнения, и от запаха живых цветов, умирающих в бутоньерках у нас на груди.

Елочка-Лотос, моя соседка с левой стороны, заметно бледнеет и, пошатываясь, направляется к стулу. Усталые глаза Елецкой меркнут, тускнеют, ни кровинки в побелевших губах.

– Выпейте воды! – шепчет ей m-lle Эллис и заслоняет девушку от любопытных глаз.

– Батюшка проповедь сейчас скажет, – шепчет мне Сима. – Ты не находишь, Вороненок, что сегодня мы будто приобщаемся Святых Тайн, точно в Великую Субботу?

– Приобщаемся к жизни, – мечтательно вторит позади нас Черкешенка, поймавшая чутким ухом вопрос.

– Только, чур, прежде времени не скисать, – шепотом командует Сима. – Знаю я вас, утриносите. Слова порядочному человеку не дадите сказать, сейчас расчувствуетесь, повытянете платки из кармана – и ну трубить на всю церковь!

А у самой Вольки глаза влажные.

– Сима, – говорю я ей, – Сима, мы должны встречаться с тобой часто-часто! Слышишь? Во что бы то ни стало? Да?

Она прикрывает лицо пелеринкой и корчит одну из своих обычных гримас.

– Удивительно, или я еще недостаточно надоела тебе до сих пор в институте?

Но голубой огонь ее глаз говорит совсем другое.

– Ш-ш! – шикает классная дама. – Перестаньте болтать.

– Последнее замечание в институте, – шепчет позади нас Зина Бухарина. – Чувствуете ли вы это?

Не знаю, что чувствуют они, но мне грустно. Мне жаль этих белых стен, этой скромной церковки, где столько раз я повергалась ниц перед экзаменами, умоляя всех святых угодников не оставить меня в трудную минуту. Мне жаль этих стен моей семилетней тюрьмы и этих милых девушек. Жаль красивую, строгую, но внимательную к нам, воспитанницам, начальницу, жаль вспыльчивую, как порох, но добрую m-lle Эллис.

А отец Василий точно угадывает мои мысли. В его проповеди, обращенной к нам, уезжающим, столько заботы о нас и доброты.

– Бог весть, что ждет вас за институтскими стенами, дети! – гремит теперь на всю церковь его обычно тихий голос. – Но помните каждую минуту, в радости ли, в горе ли, среди темных ли, бурных волн житейского моря или на гладкой, ровной поверхности более спокойного существования, помните всегда Его, Того, Кто шлет испытания и радость; Того, Кто Первый

и Высший Защитник ваш и Покровитель на земле. Не забывайте Его. Прибегайте к Нему с молитвою. А еще будьте милосердны, дети, забывайте себя ради других, старайтесь сеять добро и счастье. Многим из вас предстоит нелегкая воспитательная задача. Несите достойно и честно великое знамя труда. Воспитывайте так маленьких людей, чтобы они со временем могли приносить в свою очередь посильную пользу. Сейте доброе семя в восприимчивые детские души, и да послужат они основанием прочному и красивому духовному росту ваших воспитанников!

Мы все глубоко потрясены. Многие плачут. Даже среди приглашенных мелькают взволнованные, окропленные слезами лица.

У сорока девушек лица сияют. Увлажненные милые глазки, светлые улыбки, и в них беспредельная готовность пожертвовать собою ради счастья других.

– Как хорошо!

Синее небо сверкает сквозь стеклянный купол храма. Золотые потоки солнца льются прямо на нас. Червонно горит, поблескивая, позолота риз на амвоне. А там, впереди, тонкий худощавый священник, с побледневшим вдохновенным лицом, мудро, ярко и красиво говорит нам о вечной, прекрасной, самоотверженной любви ко всему миру.

Как и чем закончилась проповедь, как подходили целовать крест и как нас кропили святою водой под громкое и торжественное «Многая лета», – все это я помню смутно.

Кончалась сказка преддверия жизни, и сама жизнь вступала на ее место. Жизнь стучалась у порога и точно торопила нас. И сорок юных девушек спешили к ней навстречу...

– В залу, mesdames, в залу! Завтракать! – несется призывно из конца в конец по большой столовой.

Кто может завтракать в это утро? Мы давимся куском горячей кулебяки с рыбой, обжигаясь, глотаем горячий шоколад. Даже Додошке Даурской, известной лакомке, ничто не идет в горло.

С ближайших «столов» сбежались младшие классы, несмотря на строгое запрещение их классных дам оставлять места.

Это «обожательницы» и «друзья» нас, старших.

Особенно густа их толпа вокруг Симы Эльской. Она пользуется исключительной популярностью среди малышей.

– Гулливер среди лиллипутов! – в последний раз повторяет кто-то из нас прозвище нашей общей любимицы и ее маленького стада.

Происходит обмен карточками, передача адресов. Горячие клятвы звучат то здесь, то там.

Тоненькая маленькая девочка с фарфоровым личиком, из «сеньмушек», широко раскрывая глаза, затопленные слезами, шепчет, обращаясь к Симе:

– Не забывайте, m-lle дуся, бедную Муську.

– И Анночку Зяблину тоже, – вторит ей другой голосок.

– И Мари. И Мари, ради Бога!

Васильковые глаза самой миловидной «шестушки», Сони Сахаровой, поднимаются на Эльскую.

– Как я любила вас, m-lle Симочка-дуся! Как лю-би-ла!

– И я! И я! До самой смерти любить вас буду!

– Смотрите, дуся ангел: она ваш вензель выцарапала на руке булавкой.

– Милая дурочка! Какое безумие! – возмущается Сима.

У каждой из нас есть свои поклонники. Даже у Додошки. Даже у степенной и строгой Старжевской, у «монахини» Карской, и у «профессорши» Бутулиной, нашей второй ученицы.

Славные, наивные девочки, такие непосредственные, с разгоревшимися от слез лицами – не оплакивайте же нас, как мертвых, милые! Ведь мы идем прямо в жизнь!

Трепещущие, по широкой «парадной» лестнице поднимаемся мы в залу. Впереди нас – другие классы, весь институт. Там все уже в сборе, когда входим мы, виновницы торжества,

в белых тонких батистовых передниках поверх новых зеленых камлотовых платьев, с бутоньерками на груди. Громкие аккорды марша, вырывающиеся из-под рук восьми лучших музыкантов-второклассниц, летят нам навстречу.

Посреди залы – пушистый ковер как раз против длинного стола, вокруг которого разместился весь «синедрион»: почетные опекуны, начальство, учительский персонал, священник. За ними – приглашенные. Я с трудом отыскиваю среди них папу-Солнышко, брата Павлика, маму.

На красном сукне разложены награды, книги, аттестаты, Евангелия и молитвенники, которые предназначены для нас, выпускных.

Пожилой инспектор поднимается с места и оглашает имена счастливиц, получивших медали.

– Дебицкая, Бутусина, Старжевская.

Теперь на них смотрит вся зала.

– Которая? Которая? – слышится сдержанный шепот в толпе.

Первая ученица совсем особенная у нас: у Веры Дебицкой лукавое личико, бойкие глазки. Она точно играет в примерную воспитанницу, а в мыслях у нее вечные проекты проказ. Вот она у стола отвешивает низкий реверанс, принимает аттестат из рук инспектора (медали «первые» уже получили раньше из рук высокой покровительницы института во дворце), снова плавно приседает и спешит на место.

За ней Бутусина, Старжевская и другие «наградные». Потом только «аттестатные». Этих вызывают по алфавиту.

С замиранием сердца жду я своей очереди. Сотни глаз впиваются в каждую из нас, пока мы проходим длинное пространство, отделяющее почетное место выпускных от «наградного» стола и начальства.

Вдруг подле меня слышится отчаянный шепот Мары Масальской:

– Лидочка, Вороненок, взгляни, на милость! Стурло-то, Стурло как буркалы вытаращил! Прямо под ноги смотрит! Ну как тут пойдешь!

– Действительно, «история» вытаращилась на славу, – смеется Сима, беспечно глянув на нашего учителя истории. – Ну, да нам не трусить же теперь. Да и глупо бояться. Руки небось коротки. Не достать. Через час на воле мы, и тью-тью.

– Ай, страшно, месдамочки! Я не пойду! – тихо повизгивает Додошка. – Бог с ним, с аттестатом. Возьму после. Стурло глазища как пялит! Смерть!

– Госпожа Елецкая! – слышится у стола. Бедная Елочка идет через залу, сверкая своими фосфорическими глазами, грациозно склоняется своей гибкой фигуркой и возвращается на место.

– Госпожа Даурская! – слышится снова.

– Не пойду! – отчаянно шепчет Додошка. – Хоть убейте меня, не пойду!

– Что ты, Даурская? Как можно! Не срами нас! – возмущаемся мы.

– О, как он таращится!

Стекловидные глаза историка рассеянно устремлены вперед в глубокой задумчивости, точно в забытии. Весь этот парад с выпуском, очевидно, утомил бедного труженика, с утра до вечера бегающего по урокам. Но нам, привыкшим трепетать перед строгим учителем, и сейчас его взгляд кажется каким-то зловещим.

– Госпожа Даурская! – повышая голос, повторяет инспектор, удивленно приподнимая брови.

– Не пойду! Хоть убейте, не пойду. Если пойду, растянусь посреди залы. Точно, месдамочки, растянусь, – слышится отчаянный шепот.

– Додошка! Иди же!

Среди начальства недоумение: куда девалась выпускная, не являющаяся получать аттестат? Несколько рук протягивается к Даурской.

– Иди же! Иди! Это невозможно! – подталкиваем мы ее.

Наконец из толпы выкатывается толстенькая, низенькая фигурка.

– Сейчас умру! – успевает она шепнуть еще раз и, красная, как пион, катится дальше.

Стурло смотрит. Додошка приближается. Вот она уже близко! Вот... Ах!

Противный угол ковра. Как он подвернулся некстати.

Додошка прыгает и растягивается плашмя у «наградного» стола, у самых ног Стурло.

Почетный опекун срывается с места. За ним учителя. Застенчивый Зинзерин и высокий Чудицкий спешат на помощь девочке.

В толпе смех.

Малиновая от смущения, Додошка плачет.

– О, негодный Стурло! Я говорила! Я говорила! – шепчет она, рыдая, по возвращении назад.

– Брось, Додик. Что значит одна лишняя шишка в сравнении с нашим выпуском! – фило-софски резюмирует Сима.

– Осрамилась я, – стонет Додошка.

Мы поем.

Поем наш последний привет этим стенам, этим людям, друг другу – последнее наше прощанье в словах кантаты: «На вечную разлуку, подруги, прощайте. Пред нами раскрылась широкая дверь...»

В толпе начальства волнение. Madam начальница подносит батистовый платок к глазам. Вздрагивают ее полные плечи.

И среди публики многие плачут тоже. Рыдает, упав головой на плечо старшей дочери, худенькая старушка, мать Елецкой. Глаза мамы-Нэлли тоже полны слез.

Что-то щекочет мне горло. О, если бы еще денек не расставаться с этими поющими, милыми девушками! Один только денек!

Но вот мы смолкаем. Слезы подступили к горлу, дальше петь невозможно. Матап подходит к учителям и опекунам, обнимает каждую из нас, целует. Слезы наши смешались. Теперь матап уже не прежняя строгая начальница, теперь она нежная, добрая мать.

– Смотрите, у кого горе будет какое, мне пишите. Слышите, милые? А то прямо сюда, под крылышко вашей старой ворчуны. Она, поверьте, всегда примет участие в вашем горе, – шепчет матап сквозь слезы.

Все растроганы. Все сдерживают рыдания. Учителя протягивают нам руки. Белые, выхо-ленные пальцы Чудицкого сжимают мою руку.

– Помните, госпожа Воронская: не надо закапывать в землю Богом данное дарование.

Это он о моей способности писать дурную прозу и скверные стихи.

– Со временем может развиваться и разгореться искорка, – поучает он.

– А вы, моя милая художница, – говорит учитель рисования, высокий, белый как лунь старик Зине Бухариной, – вы-то уж не забрасывайте своего таланта.

– Госпожа Даурская, – угрюмо шутит хмурый Стурло, – помните, что Крещение Руси было в девятьсот восемьдесят восьмом году.

– А ну вас! – отмахивается та. – Из-за вас растянулась только. И чего смотрели!

Уши инспектриссы «скандализованы» таким ответом. Ей хочется осадить дерзкую, но – увы! – мы уже одной ногой на воле, и с этим приходится считаться. И «кочерга» нервнее, чем когда-либо, вертит цепочку, морщит лицо и скрипит:

– Ну вот и дождались! Вот и кончили курс! Помните только все, чему вас здесь учили. А главное – манеры.

– Прощайте, monsieur Зинзерин! – прерывает ее Креолка. – Я вас верно и преданно обо-
жала пять лет.

Математик смущенно краснеет, кланяется и не знает, что отвечать.

Его выручает голос начальницы, покрывающий своим возгласом все голоса в зале:

– Ну, с Богом, дети! Идите переодеваться. Не заставляйте ждать ваших родных.

Ах да, родные! О них-то мы, недобрые, как раз и забыли в эти минуты.

* * *

Кто эта высокая девушка с осиной талией, с мягко курчавящейся головою?

Белый шелк облегает фигуру. Серебристая тиара-шляпа обвила голову, и черные крылья
колеблются на ней.

Я или не я?

Серые глаза смотрят жадно и пытливо. Щеки разгорелись, и не то грустно, не то робко
улыбаются губы.

Посреди дортуара, куда мы пришли для того, чтобы сбросить навсегда неуклюжие казен-
ные платья и облечься в наш выпускной собственный наряд, стоит стройная девушка с чер-
ными змеями кос, ниспадающими вдоль спины.

– Черкешенка! Какая красавица!

Это вскрикивает, как шальная, младшая Пантарова, Малявка.

– Мария из Пушкинской «Полтавы»!

– Нет, лермонтовская Тамара!

– Ах, вздор! Просто красавица, каких нет и не было на земле, – слышатся восторженные
отзывы.

Румянец загорается на прелестном личике Гордской. Она как будто смущается своей
красоты. А в черных восточных глазах загораются искры.

– Лида, моя душка! – говорит Елена, отводя меня к окну. – Моя милая, взбалмошная
Лида, тебе я могу сказать это, ты не засмеешься надо мною: тебя я бесконечно любила все эти
годы, и всю мою ничтожную красоту отдала бы сейчас, лишь бы не расставаться с тобой.

Я потрясена. Эта милая, тихая девушка была бы мне лучшим другом, но я, с моими
вечными шалостями и проказами, едва примечала ее привязанность ко мне.

Я молча раскрываю объятия, и мы обнимаемся с Еленой, как сестры.

– Трогательная идиллия, – смеется Сима, вынырнувшая в своем скромном белом пла-
тьице и в шляпе, уже успевшей съехать набекрень.

– Ну, прощай, Вороненок, – говорит она просто. – Давай твою благородную лапу. Слав-
ные деньки проводила я с тобой. А теперь, значит, баста. Разбрасывает нас, кого вправо, кого
влево. Ничего не пропишешь, такова жизнь. А забыть я тебя никогда не забуду, – добавляет
она и тотчас же, топая ногой, со злостью кричит мне в лицо:

– Ну, чего смотришь? Не видела, как умеет рюмить разбойник Сима? И не увидишь
никогда!

А в глазах переливается предательская влага, и загораются ярче милые «разбойничьи»
глаза.

– Лотос! Елочка! Ведь ты со мною проведешь лето? – обращаюсь я к Елецкой, которая,
повернув к зеркалу лицо, усиленно старается сложить на черненькой головке какую-то необык-
новенную экзотическую прическу.

– Ах, спасибо, не могу. Мама не хочет расставаться со мною. Старится она заметно,
милая, боится меня отпустить от себя надолго. Я с нею в деревню поеду к дяде. А зимой приеду
в Петербург. Увидимся как-нибудь.

– Как жаль, Елочка! Как жаль!

Мне действительно жаль, что Лотос не может воспользоваться приглашением моих родных провести у нас лето. Вся ее мистичность, все ее болезненно-восторженное настроение исчезло бы в обстановке здоровой довольной семьи, где есть маленькие дети, где все дышит нормальной правдой жизни здоровых, счастливых людей.

Додошку Даурскую мои родители тоже пригласили провести у нас лето. Но еще два дня тому назад к Додо приехала ее тетка, заявившая желание взять сироту к себе на лето в Петергоф.

Теперь я лишилась и общества Елочки. Стало невыносимо грустно.

– Лида, а где же Большой Джон?

И тоненькая чахоточная Рант, совсем хрупкая и воздушная в ее белом наряде, предстает перед моими глазами.

– Да, Лидочка, он обманул тебя. Я отлично видела: его не было в зале среди приглашенных гостей.

– Нет, нет! – возражаю я пылко. – Большой Джон никогда не обманывает.

Большой Джон – это мой друг, двадцатитрехлетний молодой ученый, англичанин, изъездивший полмира, сын владельца огромной фабрики, находящейся в том уездном городке, где живет моя семья.¹ Большой Джон и я связаны неразрывными узами дружбы и любим друг друга, как родные брат и сестра. Джон Вильканг не раз выручал меня в детстве из самых неприятных положений.

За несколько дней до выпуска, на нашем институтском балу, Джон Вильканг, или Большой Джон, как я его прозвала, дал мне слово присутствовать на выпускном акте. И не приехал.

«Но он еще приедет», – решило за меня мое сердце, когда я убедилась, что Большого Джона здесь нет. Не было еще случая, чтобы он не сдержал данного слова.

А между тем время идет. Мы готовы. Зеленые казенные платья скрылись с наших глаз. Изящные белые девушки в шляпах и пелеринках явились на смену недавним институткам.

– Прощайте, m-lle Эллис. Не поминайте лихом! – кричим мы хором, обступая в последний раз маленькую толстенькую фигурку в шумящем шелковом платье. – Не поминайте лихом! Мы любили вас.

– Ах, дети! – Она обнимает нас всех по очереди.

– Месдамочки, пожалуйста к тапан на квартиру еще раз проститься! – звенит чей-то голос.

– Но прежде обежим гурьбою весь институт, – предлагает тоненькая Рант. И, не дожидаясь возражений, она подхватывает шлейф своего платья и первая несется из дортуара.

Мы мчимся за нею. Развешаются шлейфы, ленты, кружева, оборки. Разлетаются пушистые локоны вдоль лба и щек. Мелькают белые туфельки, качаются страусовые перья и крылья на шляпах. Пробегаем верхний коридор, площадку, лестницу. Останавливаемся перед институтской церковью.

В последний раз видим мы ее, эту красивую, небольшую молельню с иконостасом, с иконами, с двумя клиросами, с «начальническим» уголком. Здесь загорались молитвенным восторгом детские души. Здесь мы, веруя, молили или благодарили.

Не сговариваясь, белые девушки, как одна, опускаются на колени. Замирают сердца перед неведомым. С робким ожиданием обращаются взоры к алтарю. Благоговейно простояв на коленях несколько минут, мы поднимаемся, глядим друг на друга и бежим снова мимо часов, где «долина вздохов», вернее, часовая площадка, второй этаж, где классы, библиотека, зала.

– Прощайте, классы, прощай, библиотека, прощайте все!

Голоса звенят и рвутся.

– Месдамочки, выпускные взбесились! – кричат собравшиеся на лестнице институтки.

¹ См. повести «Моя жизнь» и «Большой Джон».

«Кочерга», испуганная не на шутку, спешит нам навстречу, преграждая путь. Но удержать нас трудно. Мы все сейчас – одно буйное стремление, один жгучий порыв осмотреть еще раз знакомую обстановку детства и отрочества, чтобы запечатлеть ее на всю жизнь.

Миновав лестницу, спешим в нижний этаж.

– Прощай, столовая, гардеробная, лазарет, музыкальная комната, полутемный мрачный коридор и маленькая приемная!

Начальница уже ждет нас в своей квартире. Последние объятия, напутствия, благословения.

Притихшие выходим мы в зеленую комнату, где в неприятные дни к нам в экстренных случаях пускали родных.

– Простимся теперь. Пора, месдамочки, – звучит чей-то взволнованный голос.

– Прощайте! Нет, нет! До свидания!

Затем происходит какой-то сумбур, что-то неопишное. Мы бросаемся в объятия друг другу и рыдаем, задыхаясь от слез.

– Прощайте! Прощайте!

Плачут все, решительно все. Даже в «разбойничьих» глазах Симы – слезный туман. У меня сердце разрывается от тоски, когда я сжимаю ее в объятиях.

– Пиши, милая! Пиши! Черкешенка! Голубка! – Глаза Елены полны тоски.

– Все, все пишите!

Лотос-Елочка бледна, как извесь.

– Наши души сольются, несмотря на разлуку, – говорит она.

– Месдамочки, когда я замуж выходить буду, всем пришлю приглашение, – сквозь рыдание улыбается Креолка.

– О, будь покойна, тебя никто не возьмет, – шутливо отмахивается Сима, – на голове колтун, глаза как плошки.

В дверь приемной протискиваются младшие, наши друзья, вторые, третьи. Потом снова с заплаканными личиками появляются «обожательницы», и каждая стремительно бросается к объекту своего поклонения. Снова поцелуи, вздохи, слезы, рыдания.

Когда я получасом позднее появляюсь перед папой-Солнышком, мамой и братишкой, лицо мое безобразно вздуто от слез, вспухшие веки красны, а губы отчаянно дрожат от волнения. Все отлично понимают меня. Кратко осведомившись: «Ты готова?», они ведут меня вниз, в вестибюль института. Как во сне мелькают передо мной еще раз милые, знакомые, дорогие лица. О, какие дорогие, милые! Рант, Елочка, Черкешенка, Додошка, Креолка, сестрички Пантаровы, Сима. Прощай! Прощай!

Швейцар Петр, похожий сегодня на какое-то удивительное существо из сказки благодаря парадной ливрее и аксельбантам, широко распахивает передо мною дверь.

– Дай вам Бог счастья, барышня Воронская! – говорит он значительно. – К нам пожалуйста в гости! Не забывайте!

Я слова не могу произнести от волнения, киваю головою и медленно переступаю заповедный порог.

– Счастливый путь! – слышу я в тот же миг добрый голос. – Счастливый путь, маленькая русалочка, в большом море жизни!

Я поднимаю заплаканные глаза.

– Большой Джон! Я знала, что вы приедете! Я знала!

Передо мною высокая – о, какая высокая! – на длинных ногах фигура, широкие плечи, корпус атлета и маленькая, совсем маленькая головка с безукоризненными чертами лица. В серых глазах и бесконечная ласковость, и шутливая насмешка. В тонких, сильных руках с длинными пальцами – великолепный букет лилий.

Я в восторге смотрю на Джона, забыв поздороваться, забыв поблагодарить.

– Зачем вы так балуете, мистер Джон, нашу Лиду? – говорит «Солнышко», пожимая руку моего друга.

– Я знал, что вы будете искать меня в числе приглашенных, – говорит Джон, обращаясь ко мне и улыбаясь. – Но я именно хотел вас приветствовать на самом пороге жизни и поднести эти морские цветы маленькой русалочке. Ведь розы не растут на дне моря, как эти. Но что это?

Джон Вильканг вглядывается мне в лицо.

– Очевидно, вы неутешно плакали. Разлука с подругами, правда, дело тяжелое, но, маленькая русалочка, стыдитесь так непростительно поддаваться слабости. Бодрую и радостную хотел бы я видеть вас, входящую в жизнь.

– Ах, это так понятно, – пробует защитить меня мама. – Я сама была институткой и тоже...

Она замолкает, и ее глаза сияют. – Увы, я институткой не был! – подхватывает Джон. – Но думается мне, что следует беречь слезы для более серьезных случаев в жизни.

– Ого, какой строгий! – улыбается Солнышко-папа.

– Ужасно, – вторит Большой Джон и, подхватив Павлика на руки, высоко подбрасывает его над головой.

– Ха-ха-ха, – заливается мальчик.

– Садитесь с нами, Большой Джон. В нашем ландо есть свободное место, – предлагаю я. – Ведь вы не останетесь сегодня в Петербурге?

– Ни под каким видом! Иду домой вместе с вами.

– Вот и прекрасно. Мы вас до пристани доведем.

И высокая фигура с крошечной головой усаживается в экипаж между мной и братишкой. Разрезая хрустальные воды Невы, плывет «Трувор» – большой невский пароход, совершающий свои рейсы между Петербургом и Ш., городком, где служит мой отец.

Шестьдесят верст водою – какая это чудесная прогулка!

Я не могу оторвать от берега взгляда. Леса, селения, дачи, редкие пристани и снова леса, леса, сосновые и лиственные, красиво отражающие в светлых водах свои пышные ветви.

Столица с ее заводами, фабриками, пылью и дымом осталась далеко позади. Впереди широкая водяная лента. С обеих сторон пышная зелень майской природы и вода, вода. Река и солнце, потоки солнца кругом. Колесо шумит. Брызги воды вылетают из-под него фонтаном, белая и чистая, как сахар, пена разбрасывается по обе стороны плывущего гиганта.

Тонкий пронзительный гудок, и мы приплываем к пристани. Перебрасываются мостки. По ним спешат пассажиры. Поскрипывая, покачивается утлая пристань.

– Отчаливай, – слышится в рупор команда капитана. И снова с шумом вертится колесо. Снова режет могучий «Трувор» хрустальные воды реки-царицы.

В каюте Большой Джон, чтобы развлечь моего сморившегося, уставшего братишку, рисует ему карикатуры на пассажиров, показывает фокусы при помощи спичек и носового платка. Мои родители разговаривают со знакомыми из нашего города. А я стою на корме, обсыпанная студеными пенными брызгами, опьяненная видом природы и первыми часами моей «воли», первым сознанием ее власти и красоты.

Пароход дышит смутным, грохочущим дыханием и подвигается все вперед и вперед – как и моя жизнь.

Там, впереди, ждет его маленький город. Меня впереди ждет моя судьба. Какова она еще будет, я не знаю; горе ли, радость принесет мне она в ближайшие дни – неведомо ни мне, ни кому другому. Знаю одно: начало моей воли празднично и прекрасно, как сказка, о чем свидетельствуют этот, полный солнца и света, радостный день, и сияние хрустально-голубой реки, и пушистая изумрудная лесная зелень побережья.

Я точно во сне, когда тремя-четырьмя часами позднее выхожу на пристань по утлому трапу, впереди моих родных.

Большой Джон шагает подле.

– Маленькая русалочка, – голосом сказочного чудовища басит он, – как нравится вам родной городок?

Убогий, маленький бедный уголок, захолустье большой России, разбросанный у самого устья красавицы-реки. У истока ее, из большого, мрачного синего озера, бурливого и почти безбрежного, как море, – белая крепость. Здесь на каждом шагу история и старина. Здесь бились шведы и русские. Здесь проходил Скопин-Шуйский со своей дружиной. Здесь реяли много позднее знамена Великого Петра. А там, за белой стеной крепости, в мрачном каземате томился царственный узник Иоанн Антонович, лишенный престола. Бесконечные каналы, перерезанные шлюзами. Часовенка у пристани, с чудотворной иконой, дальше фабрика, еще дальше тихое поэтичное кладбище в сосновом горном лесу.

Мое сердце бьется. Все здесь дает настроение: и красота природы, и маленький исторический городок, полный воспоминаний далекой седой старины.

Вдруг внезапный, беспорядочный шум привлекает мое внимание.

Толпа оборванных, страшных, с испитыми лицами бродяг бросается к нам навстречу. Они рвут из рук моего отца мой небольшой чемоданчик, хватают нас за платье и кричат:

– Алексей Александрович! Батюшка! Благодетель! Поздравляем, отец родной, с дочеринским приездом! Матушка, красавица-барыня, вас также!

Тут мужчины, женщины, дети. Охрипшие голоса, озлобленные лица, силящиеся изобразить сейчас умильную улыбку на искривленных губах.

Я шарахаюсь в сторону и гляжу на эту пеструю, жалкую и жуткую толпу.

– Маленькая русалочка, – слышу я голос Большого Джона, – не бойтесь: это здешние ссыльные, они безвредны и не принесут вам вреда.

Ну, да, конечно, глупо было бояться. О них, об этих полуголодных, оборванных людях, я совсем и забыла. А между тем они, эти серые люди с изможденными лицами, знакомы мне с тех пор, как мы поселились в Ш. Их партиями пригоняют сюда из Петербурга, подбирая большею частью в нетрезвом виде на улицах. Среди них можно встретить и мелких воришек, и уличных бродяг.

Но здесь, в Ш., они действительно безвредны. У них своя община, свой старшина, свои порядки. И живут они в большой, мрачной казарме в предместье города. Каждую субботу обходят они дома состоятельного населения и получают по копейке с дома каждый. Это – их доход. Кроме того, на пристани сторожат пароходы, чтобы носить багаж приезжих на своей рабочей спине.

С крикливыми возгласами толпа ссыльных мужчин и женщин всех возрастов окружила нас.

– Ангел-барыня! Барченочек! Божье дитяtko! Барышня-красавица! – лепетали они. – Поздравляем вас! – выводили они нараспев хором и мгновенно окружили Большого Джона. – Иван Иванович! Благодетель наш! В добром ли здоровье?

– Слава Богу, друзья мои! – отвечает он своим веселым, добрым голосом. – Вот сегодня же буду просить отца принять несколько женщин к нам в сортировочное отделение на фабрику.

– Дай тебе Господи здоровья, благодетель ты наш! – слышатся умиленные голоса.

Тесная группа обступила моего отца, который раздает им мелкие монеты. Павлик пугливо жмет к матери. Нежный и хрупкий, он не выносит шума и суеты.

А мои глаза уже видят там вдали синие воды озера, похожего на море, с реющими на нем белыми чайками парусов.

Внезапно я чувствую, как что-то постороннее прикасается к моему боку там, где место кармана. Что-то проворно скользит по мне, как змея.

– А!

Я едва успеваю крикнуть. Живо оборачиваюсь.

Что-то смуглое, черное, всклокоченное и оборванное шарахнулось в сторону. В ту же минуту слышатся дикие, пронзительные крики.

– Держи! Лови! Левка у барышни портмоне из кармана стянул! Держи! Лови мошенника!

И несколько взрослых фигур устремляются следом за небольшим оборванным, черным, как цыганенок, мальчуганом.

С изумительными ловкостью и быстротою, мальчик не старше четырнадцати лет юркает в толпу, потом, изогнувшись, проносится мимо. За ним гонятся шесть или семь сильных, здоровых мужчин. Слышны их свистки, крики, злобная брань.

– Лови! Держи! Разбойника лови, братцы! Мы те покажем, как у благодетелей воровать!

Мое сердце сжимается болью за худенькую, жалкую фигурку.

«Только бы не били его, только бы не били!» – выстукивает оно, сжимаясь от жалости.

К отцу подходит огромный, костлявый человек со странными прозрачными глазами, с красным носом и впалыми щеками, обросший рыжей щетиной.

– Это их староста, – шепчет мне мама. – Он, конечно, будет сейчас извиняться.

Действительно, староста Наумский хриплым голосом говорит отцу:

– Вы, ваше благородие, не бойтесь. Мы мальчонку проучим. Мы такого сраму не допустим. Мы хоть и пьяницы и бродяжки, а того у нас нет, чтобы благодетелей обижать.

– Нет, нет. Не смейте его бить. Никакой расправы я не допускаю, – говорит отец строго и хмурит брови.

– Ну, уж это наше дело. Мы позора на себя брать не хотим, – обрывает рыжий человек.

– А, голубчик, попался! – свирепо накидывается он на кого-то, рванувшись вперед.

Толпа раздается на обе стороны, и я вижу: четверо мужчин ведут воришку. Двое тащат его за руки, двое подталкивают в спину. Я вижу ужас, разлитый в зрачках мальчугана. Его помертвевшее от страха лицо, его спутанные кудри, нависшие по самые брови, и огромные черные сверкающие глаза, налитые животным ужасом. Он знает, какая жестокая расправа ждет его в казарме.

Кто-то вырывает из его рук кошелёк и передает мне.

Мой отец взволнован.

– Послушайте, – обращается он к толпе, – не смейте бить мальчика. Отведите его к исправнику. Он разберет, в чем дело. Но я запрещаю вам самим расправляться с ним.

В голосе моего «Солнышка» звучат властные ноты. В глазах приказание. Обычного детского выражения я не вижу в них сейчас.

Но возмущенная толпа уже не слышит ничего.

– Ты, ваше высокородие, препятствовать нам не моги. У нас свои уставы, – коротко бросает Наумский и затем отрывисто приказывает толпе: – Ведите в казарму мальчишку и там ждите меня и моего приказа.

У меня холодеет сердце и дрожь пробегает по спине. Предо мною жалкое, маленькое лицо, исковерканное страхом. Я чувствую сама, что бледнею. Холодные капли пота выступают у меня на лбу.

– Они забьют до смерти этого ребенка, а вырвать его у них нет возможности и сил.

– Послушайте, – кричит мой отец, повышая голос. – Если вы тронете его хоть пальцем, двери моего дома навсегда закрыты для вас, и субботные получки вы...

Он не доканчивает своей фразы. Высокий человек с крошечной головой, смело расталкивая толпу, пробирается к маленькому бродяжке. Вот он перед ним.

Мое сердце наполняется огромным порывом счастья. Теперь я знаю, я чувствую ясно: Левка спасен.

Сильными толчками Большой Джон отстраняет мужчин, державших мальчугана, и кладет руку на кудрявую голову оборванца.

– Ты пойдешь со мною, – говорит он голосом, не допускающим возражений. – Я беру тебя на поруки в свой дом.

Потом, окинув толпу ястребиным взглядом, добавляет властными нотами:

– И кто тронет его пальцем, тот будет считаться со мной. А теперь расходитесь вы, живо! До свиданья, полковник! – минутою позднее обращается он к «Солнышку» и пожимает его руку (другую рукою он цепко держит Левку за плечо). – Совсем забыл; через неделю день рождения сестры моей Алисы – ее совершеннолетие, и мой отец просит вас пожаловать с супругой и дочерью к нам. У нас праздник и бал. Маленькая русалочка, вы не откажете подарить мне котильон? Не правда ли?

– О, конечно! – тороплюсь я ответить, а глаза мои по-прежнему впиваются в Левку.

Меня поражает это хищное и в то же время запуганное выражение лица с цыганскими глазами.

Толпа оборванных людей медленно расходится тихо ропща и негодуя. Но открыто протестовать она не может. Большой Джон – крупная личность в городке. Многих из этих ссыльных он определяет на фабрику своего отца. Многим дает заработать кусок хлеба.

Левка, попав под его защиту, теперь является недостижимым для толпы. Он это чувствует и доверчиво льнет к своему благодетелю. На губах его появляется довольная улыбка, а черные глаза коварно усмеваются, глядя на толпу.

* * *

Лето мы проводим не в самом городе Ш., а в предместье его, в прелестной маленькой мызе «Конкордия», сбегающей дорожками к реке. Две извозчицы пролетки везут нас туда. Я еду в переднем экипаже с мамой-Нэлли. Позади – папа с братишкой.

– Как хорошо, что тебе сразу представляется случай встретить на вечере у Вильканг все здешнее общество, – говорит моя спутница. – Войдешь в него сразу, познакомишься со всеми.

Я киваю, но на уме у меня другое. Я не люблю общества. Лес, поле, красавица-река, лодка, природа – вот желанное общество. Я еще полна печали по подругам. Симу, Зину Бухарину, Черкешенку, Рант, Веру Дебицкую, – всех их мне никто не заменит.

Мама-Нэлли точно читает в моих мыслях.

– У тебя не будет недостатка в сверстницах, – говорит она. – У нас живет молоденькая швейцарка Эльза, рекомендованная Джоном Вилькангом. Она будет всюду сопровождать тебя. И потом, Варя еще у нас. И хотя она тебе не пара, но все-таки в молодом обществе тебе будет веселей.

Варя? Да. А я-то и забыла о ней.

Молодая, полуинтеллигентная, из школы ученых нянь-фребеличек, Варя давно уже живет в нашем доме. Она нянчила моего брата Павлика, а теперь на ее руках Саша и Нина – младшая детвора. Во время моих летних вакаций я подружилась с Варей и даже тайком от всех перешла с нею на «ты». Моим родителям не особенно нравится эта дружба, так как обладающая далеко не легким характером Варя не умеет держать себя в границах. Она деспотична и резка, но ко мне питает привязанность. При всех мы на «вы»; наедине – на «ты» и считаем себя подругами.

Пока я расспрашиваю маму про Варю, мы минуем город с его рынком и бульваром, с его белой фабрикой, сосновым лесом и кладбищем на горе. Вон казармы в предместье. Вон рыбацкая слобода, куда мы когда-то ходили пить парное молоко с моей гувернанткой-французенкой. Вон уже потянулись поля, роща, показалась высокая дача с бельведером. Вдали лес, темный и молчаливый. А по другую сторону дороги – белые столбы ворот мызы «Конкордия».

Мы подъезжаем.

Пестрая группа виднеется у входа на мызу. Кто-то машет платком, кто-то маленький, толстенький, потешный крутит шляпой над головой.

– Стой! Стой! – кричу я извозчику, соскакиваю с пролетки и, небрежно подхватив шлейф моего белого платья, бегу со съехавшей на бок шляпой навстречу собравшимся.

Вот они все передо мною.

Насколько мой первый братишка строен и хорош, настолько второй – толстенький и неуклюжий шестилетний Сашук – кажется медвежонком. Но в серых глазах его столько добродушия, что так и тянет расцеловать его.

Четырехлетняя Ниночка прелестна грацией крошечной женщины. И глаза у нее – как голубые незабудки в лесу. Черные реснички длинные.

– Лида приехала! Лида! – визжат они и прыгают на месте, хлопая в ладоши.

Я обнимаю всех, целую.

– Ты будешь рассказывать нам сказки?

– Да, милые! Да!

– А мыльные пузыри пускать будешь? – осведомляется Саша.

– Ну, конечно! Конечно!

– А у меня есть жук в коробке! – посапывая носиком и высвобождаясь из моих объятий, присовокупляет он.

– А ты такая же шалунья, как прежде? – спрашивает Павлик. И вдруг вспоминает: – Ах! Слушайте... У пристани какой-то бродяжка у Лиды из кармана портмоне вытащил. Его все ссыльные бить хотели. Но папочка не позволил, а Большой Джон вдруг как выскочит, как растолкает их всех, и к себе мальчика взял. Он – черный, как цыган. И злой. А глаза как яйцо. Во!

– Лида Алексеевна! Милая! Поздравляю! – слышу я резкий голос.

– Варя, дорогая!

Карие глаза ее горят, а по скуластому молодому лицу разлился румянец. Она некрасива: маленькие глазки, поджатые узкие губы, скуластое лицо, волосы, густые и непокорные, какого-то линючего цвета. Но зато у нее крупные сильные зубы и насмешливое, умное лицо.

Я оборачиваюсь к ней, целую. Ее преданность и любовь так радуют меня.

– Ах, Варя, какая у нас будет дивная жизнь! – шепчу я ей.

– Наконец приехала, родная! А у нас тут новость – взята швейцарка. Ну и сокровище! Увидишь! – шепчет она пренебрежительно.

Я сразу понимаю все. Варя ненавидит «чужеземку». Она ревнует ее ко мне, к детям, к своему положению у нас в доме.

– M-lle Эльза уже здесь? – срывается у меня.

– Bonjour, m-lle Lydie! – слышу я тоненький голосок.

Передо мною низенького роста девушка, черноглазая, миловидная, свеженькая.

– Эльза, – говорю я по-французски, протягивая ей руку, – мы будем друзьями? Не правда ли?

Она улыбается, и глубокие ямочки играют у нее на щеках.

Варя презрительно поджимает губы. Я беру ее за руку.

– Не сердись, – шепчу я ей мимоходом. – Ведь и нужно было обласкать. Но тебя я не променяю ни на кого.

– Барышня золотая наша приехала, – слышу я громкий голос, и веселое, жизнерадостное существо, девушка двадцати семи лет, горничная мамы-Нэлли, служившая у нее еще в годы девичества, бросается меня целовать: – Наконец-то! Шесть лет этого ждали! – кричит она и от избытка чувств подхватывает на руки мою младшую сестренку.

– Ура! Кричите «ура», мальчики! – подталкивает она братьев.

Саша раскрывает рот. Павлик машет ручонкой.

– Не надо кричать. Мы не солдаты. Лучше пойдем, покажем Лиде все, что мы приготовили для нее, – говорит Павлик.

– Конечно, конечно.

«Солнышко» и мама-Нэлли примыкают к нашей юной толпе.

У входа в дом флаги. Балкон обвит зеленью и полевыми цветами. Из них сплетена искусная надпись «Добро пожаловать, сестрица».

Это дети с воспитательницами сплели ее для меня.

Всюду букеты моих любимых ландышей: в вазах, в граненых бокальчиках, в стаканах. Мой портрет тоже увит ими.

– В Лидину комнату теперь, живет! – командует Павлик, и с визгом ребятишки бегут туда.

Обняв маму-Нэлли и лаская глазами папу-Солнышко, вхожу в приготовленное для меня гнездышко.

Оно в верхнем этаже. Окна выходят на Неву. Вот она сверкает серебристой лентой между кружевом сосен. Комната вся голубая. Ее стены выкрашены «под небо». На полу, перед письменным столом, – шкура дикой козы. Голубые драпировки из крепона, уютная кушетка, на которой так хорошо читать, так сладко грезить; ореховый шкаф с большим зеркалом, вделанным в дверцы.

На письменном столе – изящный прибор для письма из красивого серого мрамора с бронзой. В углу, за ширмами, – белоснежная кровать. Там же и огромный мраморный умывальник. Заботливые руки, поставившие его, знали, что я люблю плескаться, как утка, и предусмотрели все. Над столом полочка с книгами: Лермонтов, Надсон и Тургенев, чудесный Тургенев, перед ним я склоняюсь до земли.

Никаких статуэток, бибело, ни туалета с его принадлежностями в комнате нет. Если бы не голубой цвет и нежные тона, можно было бы подумать, что это комната юноши. Но я не люблю никаких украшений, которые так «обожают» барышни моих лет. Моя душа – душа мальчугана. Родные знают это и украсили мою комнату именно так, как я мечтала сама.

– Тебе нравится? Да? Нравится? Скажи! – кричат братишки и сестренки.

Но сказать я ничего не в силах. Я счастлива, бесконечно счастлива. Оборачиваюсь к Солнышку, к маме. Протягиваю руки, благодарю без слов.

Какие у них счастливые лица!

– Зимой мы прибавим мебели на городской квартире, – роняет отец.

– Да, да. Будет еще уютнее, – вторит мать.

– Да может ли быть лучше того, что я здесь вижу? – срывается с моих уст в восторге.

Остаток дня я посвящаю осмотру мызы «Конкордия». Как все здесь красиво. Старый запущенный сад. Заросли сирени, боярышника, акации. В глуши зеленая беседка из плюща, как раз над Невой.

– Это будет моим любимым пристанищем, – решаю я.

Часть сада расчищена. Есть гигантские шаги, качели. А через дорогу лес. Напротив – старая усадьба хозяев. Здесь мы жили раньше. Там весь вечер поют соловьи. У пристани – маленькая лодочка. Это Солнышко купил ее для меня. Я прыгаю в нее, беру весла. Один взмах, и течение подхватывает меня.

Я гребу до утомления, полная молодого задора. Только к обеду, к шести часам, попадаю домой.

– Была на реке! – кричу звонко, входя в столовую. Но этого и говорить не надо: платье пропитано брызгами, а солнце первым загаром тронуло щеки. В лице мамы-Нэлли тревога.

– Не люблю я воды, – шепчет она тихо. – Боюсь.

– О, за нее не бойся, дорогая! Она гребет и правит лодкой лучше любого рыбака, – смеется папа-Солнышко.

А вечером, когда дети спят, каждый в своей белой постельке, Варя пробирается ко мне в мезонин. Я распахиваю окно. Соловьи заливаются в глухой усадьбе хозяев. Тихо плещет Нева. Варя обнимает меня крепко, и мы слушаем молча ночные трели. Потом она говорит о своей привязанности ко мне, о ненавистной ей Эльзе, о своем одиночестве и о тусклой сиротской доле.

– Как хорошо, что ты приехала, радость моя! – шепчет девушка. – Теперь все пойдет по-старому. Ведь ты любишь меня? Ведь ты-то уж не променяешь меня на Эльзу?

– Какие ты глупости говоришь, Варя.

– Ну, вот уж и глупости! – поджимает она губы. – Всех эта Эльза тут околдовала, что и говорить. Раньше, бывало, дети от меня ни шагу, а теперь все с нею да с нею. И Анна Павловна на нее не надышится. Еще бы! Эльза умеет туману в глаза напустить.

– Что ты, Варя. Мама-Нэлли так дорожит тобою, – оправдываю я близкое мне существо.

– Ах, что ты знаешь! – сердится Варя. – Вот погоди, околдует и тебя.

– Не околдует, – смеюсь я.

Так странно и дико в этот чудный майский вечер под сладкие рулады соловьев чувствовать глухую вражду, зависть, беспокойство.

Я обнимаю крепче девушку, поцелую прогоняю мрак из ее души и начинаю рассказывать ей о сегодняшнем дне, о выпуске, о Симе Эльской, Креолке, Черкешенке, Додошке. И глаза ее постепенно загораются. Улыбка трогает тонкие губы. Потом я читаю ей свои стихи, ей одной читаю все то, что написала за последнее время.

Варя сулит мне известность в будущем, славу. И глаза ее горят восторгом, когда она смотрит на меня.

Мы расходимся поздно. Заря уже охватила полнеба, и на заднем дворе пропели первые петухи. Я валюсь на постель и тотчас же засыпаю, как убитая.

* * *

Новая жизнь на воле.

Дни стоят чудесные, ясные, праздничные. В золотом мареве купаются синие волны реки. Зеленеют деревья. Ни тучки в бирюзовом небе. Ни темного облачка на душе. Все красиво и ясно, как и в самой природе.

Сплю до десяти. Отсыпаюсь за зиму институтской учебной гонки. Потом наскоро одеваюсь и бегу купаться. Со мною Варя и Эльза. За детьми в это время присматривает Даша.

Вода в Неве холодная, бодрящая. Плаваем, хохочем. Варя ныряет, как чайка. Эльза – трусиха. Она кроткая и покорная, все смеется.

– Она глупа, – решает Варя. – Покажи Эльзе палец, сейчас будет хохотать.

Нет, Эльза не глупа. Это птичка, беспечная, веселая, как дитя. Что за мысли кроются под черной гривкой волос, не знаю. Какими надеждами бьется сердечко, кто сумеет разгадать?

К завтраку мы возвращаемся возбужденные, с мокрыми волосами, с волчьим аппетитом.

Затем отправляемся в лес с детьми.

Лишь только вступаем под мрачные своды хвойных великанов, как душа моя затихает, раздавленная этим величием и тишиной. Сначала молчишь, как в храме, замороженная. Потом откуда-то из глубины души вырывается восторг и желание слиться с природой, с травой, с лесом.

Веселье кружит голову. Мы гоняемся друг за другом как бешеные, к немалому восторгу детей. Валимся на траву, скатываемся кубарем с холмов и пригорков. Иногда затихаем внезапно. Я импровизирую стихи или сказки. Меня слушают все с жадно раскрытыми глазами. Из моих уст так и льются волны фантастических вымыслов. Чего только я не выдумываю! Тут, в лесу, все таинственно и прекрасно. Здесь невидимый замок волшебника. В нем томятся прин-

цессы. По ночам их можно видеть танцующими при луне. А из болот выходят по ночам на берег серые жабы, ударяются о землю и делаются принцами, которых заколдовал злой колдун. Сказка заканчивается всегда благополучно и постоянно – свадьбой принцев с принцессами и гибелью злого колдуна. Потом я читаю стихи о море, о южном солнце, о восточном небе, которых никогда не видела и не знала, но куда рвалась всей душой. Это татарская кровь дает себя чувствовать: по прадеду мы татары.

С восторгом глядит на меня Варя, с благоговейным недоумением – Эльза. Она плохо понимает то, что я говорю, но мой вдохновенный экстаз трогает ее своим жаром. Потом Варя бросается ко мне на грудь, восторгается моим дарованием и опять пророчит славу.

А после обеда, до позднего вечера, я снова на реке. Ложусь на дно лодки и позволяю течению отнести себя далеко. Спыхватываюсь и гребу.

Я воображаю себя не тем, что есть. Я снова принцесса, как и в далеком детстве. Кругом меня – мои владения, эта река моя, зеленый берег тоже мой. Там живут мои подданные – племя не то древних греков, не то арабов. Они сильны духом и смелы, как львы. Они все мирные земледельцы, и каждый из них поэт, или музыкант, или певец по призванию. Словом, все они жрецы искусства. А я...

Взошедший на небе месяц напоминает мне, кто я и что меня ждут к чаю. С неохотой расстаюсь с лодкой, бреду домой.

«Солнышко» с мамой идут в гости. Зовут меня с собою. Я отказываюсь. Одеваться, причесываться, сидеть тихо и неподвижно, напряженно вслушиваясь в вопросы, изображать из себя светскую барышню – ни за что!

– Ну, как хочешь, – соглашается «Солнышко».

Зато что за сумбур поднимается, когда мы, уложив детей, несемся с Варей, Эльзой и Дашей к любимым «гиганткам». Ах, я люблю взвизгивать птицей вокруг гигантского столба! За спиной словно крылья.

Эльза трусит по обыкновению. Варя же не отстает от меня. Даша передает свою лямку и заносит нас всех поочередно. Крик, визг, хохот.

А ночью золотые грезы выются над моей головой. Сны мои так пленительны и тревожны, и так часто сходны они между собой. Я вижу народную толпу, веселые всплески аплодисментов и тонкую девушку на эстраде. И мне кажется почему-то, что девушка эта – я.

* * *

Терпеть не могу общества, званых вечеров, но все-таки приходится идти к Вилькангам.

У них не дом, а целый дворец подле фабрики. Вокруг него чудесный английский парк-сад. Всюду статуи, беседки, мостики, гроты, а посредине площадки, у главного входа – фонтан. Музыка гремит в открытых окнах дома. «Солнышко», мама-Нэлли и я подходим к директорскому крыльцу.

Я давно здесь не была. Помню, что у Большого Джона чуть ли не десять или двенадцать сестер. И все они сдержанные, чопорные и корректные англичанки. Воображаю, что за скучище этот сегодняшний бал.

Сад ярко иллюминирован. Над домом английский флаг и еще другой – белый. На нем что-то написано по-английски, вероятно, поздравительное приветствие Алисе, которой минул сегодня двадцать один год.

Я ни слова не смыслю по-английски и заранее приготавливаюсь умирать с тоски.

Большому Джону, вероятно, придется мало времени уделить мне сегодня, – ведь он хозяин. А гостей, очевидно, пропасть, слышен их топот за версту. Неужели не будет, кроме нас, никого из русских?

Но вот они перед нами.

Луиза, Кетти, Лиза, Мэли, Елена и Алиса – сама виновница торжества. Все в скромных белых платьях, гладко причесанные – благонравные девицы из нравоучительного английского романа.

«Как?! Только шесть?! А я думала – их двенадцать!»

– А! Мисс Лида! Очень приятно вас видеть, – поют все шестеро по-французски, и полдюжины рук тянутся мне навстречу.

Увы! Большого Джона не видно!

– Джон в саду, готовится фейерверк, – поясняет «новорожденная», черненькая Алиса.

Остальные подхватывают:

– Иес! Джон в саду! В саду!

Точно я глухая или плохо соображаю, что мне говорят.

Потом меня подхватывают под руки две старшие, Елена и Алиса, и ведут в зал. Рыжая Луиза и Кетти идут за нами. Белокурая Лиза и Мэли – по сторонам.

Мне становится как-то не по себе: точно преступница среди стражи.

Ненавижу англичанок. Какая разница между ними и Большим Джоном! Небо и земля!

В большой зале зажжена люстра. Там танцуют. Молодые люди во фраках, в белых перчатках, в широко вырезанных жилетах и в белоснежных манишках, с гладко прилизанными волосами, добросовестно кружат по залу чопорных английских девиц. Последние сидят по стенкам чинно, безмолвно, в ожидании приглашения.

Ах, какая тоска! Что же я буду делать? Общество незнакомое. Мои англичаночки подводят ко мне то одного кавалера, то другого. Те делают со мною молча по туру вальса и, проведив что-то сквозь зубы, сажают на место.

А что, если удрать отсюда в сад, к Большому Джону, туда, где готовят фейерверк?

Я с тоскою поглядываю в окно, где закуты в седую пелену сумерек светлая майская ночь. А тапер играет вальс за вальсом, польку за полькой, и чопорные пары кружатся без конца.

Алиса и Елена подсаживаются ко мне.

– Это жаль, – обращается ко мне по-французски старшая англичаночка, – что папа не пригласил, кроме вас, никого из русских. Вы скучаете?

– Ужасно! – признаюсь я.

У них делаются испуганные лица, точно я сказала что-то ужасное. Но действительно же – скучно мне. Почему же я должна это отрицать? Или в этом не принято признаваться?

– А у нас новость, – говорит Алиса. – Джон взял мальчика себе в услужение. Такой проказливый мальчик и, говорят, воришка. А Джон его все-таки взял в услужение.

– Да, да! Вообразите! И носится с ним, как с родным братом, – вторит Елена. – А мальчик-то бродяжка – из тех, кого сажают в тюрьму.

«Ах, это Левка, – соображаю я. – Интересно было бы взглянуть на него». И я высказываю свою мысль сестричкам.

– О, он невозможен! Это совершенный пират! – подхватывают подошедшие Мэли и Лиза.

– Вот это-то и интересно! – восклицаю я, оживляясь.

– Мы его не выносим, – цедит Лиза. – Это какое-то чудовище. Злой и испорченный мальчишка.

– M-lle, на тур вальса! – слышу я над моей головой.

Еще один юноша с английским пробором на тщательно прилизанной голове. Волосы точно склеены гуммиарабиком и блестят, как сталь. Опять предстоит кружиться по залу с этой заводной машинкой. Ни за что! Я сухо благодарю и отказываюсь.

– Как! Что! Вы не любите танцев? Как странно! Такая молоденькая барышня – и не любит танцевать! – поют мои англичаночки.

Знакомое чувство закипает у меня в душе. Я уже знаю этот приступ, который «накатывает» на меня и превращает в дикарку, истую дочь татарских степей. Я встряхиваю стриженной головой и говорю по-французски:

– Нет, настоящие танцы, вернее, пляску я ужасно люблю. Но чтобы шумно было, весело, бешено все кружилось. Чтобы рояль плясал, и тапер, и стены залы, и искры сыпались бы из-под каблуков! – заканчиваю я с залихватским жестом.

О-о! Ужас отражается в глазках уравновешенных мисс.

– Вот такую, пляску я люблю! – прибавляю я, и глаза мои горят.

Все «миссы», как я их называю, переглядываются с ужасом. Я слышу нелестную для меня фразу: «Возможно ли, что она окончила институт?!» Потом Алиса говорит:

– Барышня из общества должна танцевать корректно, без особого увлечения, а так пляшут только на сцене или у цыган.

– Вот-вот! – подхватываю я с жаром. – Это и прекрасно! – И мое лицо уже пылает. – Ведь это и есть жизнь! Настоящая жизнь!

– Ну разумеется, – слышу я веселый, хорошо знакомый голос. – Маленькая русалочка, я понимаю вас.

– Большой Джон! Наконец-то! – кричу я и вскакиваю со стула. – Ах, Большой Джон, я так скучала без вас!

Должно быть, и этого говорить не полагалось. В «благовоспитанном обществе» нельзя говорить о том, что чувствуешь в душе. Нельзя высказывать правды в глаза. На балах и в обществе так называемого хорошего тона надо надевать маску. По крайней мере, лица у шести сестриц делаются такими кислыми, точно им дали глотнуть уксуса. И с блаженными улыбками они шепчут:

– Джон, займи мисс Лиду – она скучает с нами.

– О, со мной она не заскучает, клянусь головой! – хохочет Джон.

– Никогда, Большой Джон! Вы правы! Вы меня понимаете! – вторю я и улыбаюсь ему.

* * *

В чинном спокойствии чопорные «мистеры» с проборами и тихие «миссы» под звуки рояля тщательно выделывают бесконечные фигуры.

Джон танцует со мной. Но что выделяет он своими длинными ногами!

Он то подпрыгивает на ходу, то приседает, то вдруг затопает каблуками, вскинет то одну ногу, то другую и внезапно, когда надо выделять соло, завертится волчком.

– Это матросский танец, – поясняет мне мой кавалер. – Один негр лихо отплясывал его на палубе со своей женой-поварихой, когда мы плыли на пароходе Добровольного флота в Нью-Йорк. Не правда ли, хорошо, маленькая русалочка?

– Прекрасно, Большой Джон, – соглашаюсь я. – Чудесно.

– А не хочет ли изобразить маленькая русалочка жену негра, повариху?

– Понятно, хочу, Большой Джон! Какие еще могут быть о том вопросы!

– Ну, так начинаем. Тра-ля-ля-ля!

И он с хохотом обвивает мою талию рукою и пускается галопом между рядами танцующих пар.

Дирижер, высокий, элегантный юноша, кричит нам что-то, чего мы не слышим. Притопывая, привскакивая и кружась волчком, мы танцуем тот импровизированный танец негров-матросов, внося в него всю бесшабашную удаль полудиких людей, и хохочем, точно настоящие дикие негры.

Вот вам и корректный бал. Вот вам и чопорная Англия.

Остановить нас некому. Старшие играют в карты за две комнаты отсюда. А чопорные мисс лишь бледно улыбаются.

Вдруг хохот, несется вслед за нами от входных дверей.

– Вот так штука. Здорово валяют! – слышу я детский голос.

И в тот же миг сердитые возгласы и шиканье покрывают его.

– Левка! Иди прочь. Тебе здесь не место. Какой ты грязный. Тебе нельзя сюда, здесь гости! – шипит Алиса Вильканг, выталкивая за дверь гибкую фигуру в заплатанной парусиновой блузе.

Черные глаза, спутанные кудри, задорная рожица мелькают передо мною. Это Левка. Я узнаю его сразу. За неделю сытой жизни под крылышком доброго покровителя щеки его округлились и порозовели. В его плутоватых глазах написано полное довольство.

– Пошел вон! Пошел вон! – с легким акцентом кричит Алиса и подталкивает мальчика в спину.

– Большой Джон, – шепчу я умоляюще, – позвольте ему остаться.

– Невозможно! – отвечает мне Алиса. – Это суший разбойник. С ним нет сладу. Наглый и дерзкий, за все хватается и, не догляди, готов стащить со стола лакомый кусочек.

И, оборачиваясь к мальчику, добавляет строго:

– Что ж ты стоишь? Тебе же велено убираться отсюда.

И она выталкивает его за порог залы. Но в самых дверях Левка останавливается и, оборачиваясь к «новорожденной», показывает ей уморительный жест.

Большой Джон прячет разгоряченное лицо за мой веер и бесшумно хохочет.

* * *

Пока в зале открывают форточки и освежают комнату, рядом, в кабинете Джона, играют в «мнения». Мистер Джон Манкольд, длинный юноша с рыжими бачками, собирает их. На мою долю выпадает жребий уходить.

Когда я возвращаюсь, Большой Джон шепчет мне незаметно:

– Ну, берегитесь! И разделали же они вас под орех!

Я только встряхиваю волосами (мальчишеская привычка, доставляющая маме-Нэлли столько хлопот).

Действительно, мне досталось не на шутку. Мистер Манкольд с особенным удовольствием перечисляет все, что обо мне говорили. Мне приходится слышать, что я дикая, слишком непосредственная, удивительно своеобразная (это сказано в насмешку, но на французском языке звучит как комплимент), что я «казак», что мне еще придется много работать над собою, чтобы быть как другие, что я бедовая и прочее.

И только одно «мнение» за меня.

«Она такова, что хорошо было бы, если бы все девушки в мире были на нее похожи».

Я сразу узнаю автора этого мнения.

– Угадала! Угадала! – кричу я, хлопая в ладоши. – Большой Джон, это сказали вы!

– Это сказал я, вы правы, – говорит он трагическим басом и под общие аплодисменты удаляется в зал.

– Что вы желаете сказать про мистера Джона? – обращается ко мне мисс Молли, дочь англичанина – управляющего здешней фабрики.

– Что он прелесть! – вырывается у меня.

Шушуканье, недоумение и потом насмешливый голос, бросающий звонким шепотом французскую фразу.

– Побойтесь Бога, m-lle! Так не говорят в глаза молодому человеку.

И мисс Молли таращит на меня с уничтожающим взглядом свои выпуклые глаза.

– Да разве Большой Джон молодой человек?! – смеюсь я.

– А кто же он?

И маленький, веселый и добродушный Бен Джимс, товарищ Джона, заливается смехом.

– Я считаю его моим братом! – говорю я гордо. – А брат для сестры не есть молодой человек.

Тогда мисс Молли тянет насмешливо, обращаясь к сестричкам Вильканг:

– Поздравляю вас, молодые леди. У вас есть седьмая сестра.

– Нет! Нет! – кричу я. – Сестрички Вильканг мне не сестры, но Большой Джон – милый брат.

Или я не должна была говорить и этого? Ого! Какие у них сделались вытянутые физиономии, у всех шестерых сразу.

– Мисс Лида воспитывалась в институте? – спрашивает Молли.

– Ну разумеется! Не в театре же марионеток! – восклицаю я.

«Вот тебе! Вот тебе, противная марионетка», – прибавляю я мысленно, видя, как она вся вспыхнула.

– Большой Джон! Пора! Мнения собраны, – приоткрыв дверь в соседнюю залу, зову я моего друга.

Но Большого Джона там нет.

– Ушел опять к фейерверку, – слышу я чей-то возглас.

Вместо Джона я вижу Левку, одетого в чистенькую парусинную блузу, с тщательно причесанной головой. Пестрый передник привязан к поясу. В руках поднос с прохладительными напитками, клюквенным морсом и оршадом. Глаза у Левки застенчиво опущены, на лице умиротворенное выражение.

– Налей мне питья, мальчик, – коверкая русские слова, говорят гости.

– И мне!

– И мне!

Левка чинно относит поднос на стол и раздает стаканы.

Ледяной мутный оршад удивительно утоляет жажду.

– И мне.

Алиса протягивает свой стакан величественным жестом королевы. Левка поднимает глаза. Две черные молнии сверкают на миг и снова исчезают за длинными ресницами.

И вдруг – о ужас! – струя оршада льется из кувшина мимо стакана Алисы на ее нежный белый газовый туалет.

А Левка злобно хохочет, топает ногами, улюлюкает и свистит.

– Вот тебе! Вот тебе за все сразу!

Едва сдерживая слезы, негодующая, злая и красная, Алиса поднимается со своего места.

– Гадкий мальчишка! Завтра же я попрошу тебя наказать! – говорит она рыдающим голосом.

– О, мисс, его стоит проучить сейчас же. – И длинные пальцы мистера Джоржа хватают за уши Левку.

– Не смейте его трогать! Пусть с ним расправляется его хозяин! – кричу я и стремительно закрываю собою Левку.

Этого только тому и надо. Он шарахнулся в сторону и исчез за дверью, предоставляя присутствующим заняться Алисой и ее испорченным платьем. А я убегаю в сад.

– Большой Джон! Ау!

– Ау! Ау, маленькая русалочка!

Он там, в конце площадки, возится с ракетами.

– Желаете помочь мне?

– Здесь веселее, – чистосердечно признаюсь я ему, – а там... – И я рассказываю своему другу приключение с оршадом.

Джон слушает внимательно, потом говорит:

– Мои сестры – удивительные девушки, но им не хватает снисхождения, а этот бедный ребенок Левка, в сущности, так несчастлив и одинок. Его родители исчезли куда-то, он стал из нужды бродяжкой, мелким воришкой. Но сердце у него привязчивое, и меня он любит по-своему. За эту неделю мне удалось уже приручить к себе этого дикого зверька. Вот, сестричка-русалочка, помогите мне обучить его грамоте. Сам я ведь плохо знаю по-русски.

– С большим удовольствием, я исполню ваше желание, Большой Джон, с восторгом! – тороплюсь я ответить.

Но тут нам приходится замолчать. Приготовления к фейерверку кончены, и гости высыпали в сад.

Бенгальские огни запылали алым заревом, как костры колдуньи, посреди площадки. Потом взвилась ракета, за нею другая, третья. Не чувствуя ног под собою, я перебегаю от одного столба к другому, поджигаю начиненные порохом палки, помогая Джону, и громко вскрикиваю каждый раз, как занимается желтое пламя. Но вот, рассыпая золотые брызги, завертелось огненное колесо.

Взрыв аплодисментов наградил нас за наши старания.

– Танцевать! Танцевать в залу! – зазвучали кругом голоса хозяек.

Фейерверк закончился.

Я и Большой Джон прибежали последними из сада.

– Маленькая русалочка, – произнес он тихо по дороге к залу, – в вашем доме поселилась бедная сирота. Ей тяжело одиночество. Не поможете ли вы бедной маленькой птичке?

– Вы говорите про Эльзу? – переспросила я. – Послушайте, Большой Джон, она, вероятно, вам жаловалась на то, что ей тяжело живется. Да?

– О, вы ее не знаете, маленькая русалочка. Эльза – золотое сердечко. Она никогда никому не пожалуется, как бы ей ни было тяжело.

– Хорошо, Большой Джон, я займусь ею, будьте спокойны.

– Я не ожидал иного ответа, маленькая русалочка. Ведь мы росли вместе с Эльзой. Она и мои сестры поднимались вместе. Я хорошо знаю это золотое сердечко. Будьте же другом этой малютке. Она так нуждается в вашей любви.

– Хорошо, Джон, прекрасно.

Я пожимаю его руку, и мы входим вместе в зал.

Дружное «ах» встречает нас на пороге. Большое зеркало в простенке между двух окон находится как раз против меня. Я бросаю в него удивленный взгляд и вскрикиваю от неожиданности.

Мое белое платье все в грязных пятнах, лицо закоптело от пороха и сажи. Черные безобразные кляксы пестрят по подолу и тюнику.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.